
Александр МЕЛИХОВ

ЯЗЫКИ ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ И РАЗЪЕДИНЯЮЩИЕ

В своем анализе национальных конфликтов я исхожу из того, что экзистенциальные проблемы стратегически важнее социальных: духовная деятельность человека в огромной степени направлена на преодоление страха перед собственной мизерностью и брэнностью, и с тех пор, как многократно ослабела экзистенциальная защита, даруемая религией, ее место пытается занять социальное и, прежде всего, национальное фантазирование. Люди в своем воображении пытаются эмоционально слиться с каким-то могущественным и долговечным объектом, и в качестве таких объектов издавна конкурируют между собою два фантома — изолированная нация и то или иное объединение наций, которое часто именуют той или иной цивилизацией: западная цивилизация, восточная цивилизация, иудео-христианская, буддийская, исламская, англосаксонская, славянская цивилизация...

Цивилизации как средства экзистенциальной защиты имеют то преимущество, что они более могущественны и охватывают более крупные массы людей, но они и более абстрактны, ими не накоплено такого арсенала трогательных образов, рисующих нацию по образу и подобию семьи, что дает радикальный перевес в пропаганде: убивают наших братьев, насиluent наших сестер... За каждой нацией стоит огромная мифология о подвигах и страданиях предков, о какой-то особой исторической миссии — цивилизационным мифологиям по части воодушевления, то есть экзистенциальной защиты, с национальными мифологиями тягаться трудно. К слиянию с той или иной цивилизацией влекут лишь сравнительно маломощные рациональные мотивы и — гораздо более мощное эмоциональное стремление присоединиться к тем нациям, которые ощущаются лидерами человечества или, по крайней мере, могущественными соперниками таких лидеров.

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, зам. гл. редактора журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с проглатитом». Премия интернет-конкурса «Тенета.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия «Учительской газеты» «Серебряное перо». Премия 2008 года журнала «Полдень, XXI век» (гл. редактор Борис Стругацкий). Премия фонда «Антифашист». Лауреат премии журнала «Иностранная литература» за 2015 год. Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квазимодо» (2017).

Иными словами, на объединение работает желание присоединиться к победителям, а на разъединение — страх занять в стане победителей слишком жалкое место, страх, вынуждающий держаться за национальную экзистенциальную крышу, чтобы не остаться вовсе под открытым небом. И в этой борьбе между национальным изоляционизмом и цивилизационным выбором заметным участком на передовой оказывается борьба между языками национальными и языками наднациональными, общецивилизационными. И ненависть националистов (изоляционистов) обычно обращается на тот чужой язык, который в данный момент оказывается особенно влиятельным и притягательным. В этих случаях объединяющему языку приписываются самые немислимые пороки — в противовес таким же немислимым достоинствам собственного языка. Если же между носителями объединяющего и отъединяющего языка намечается военный конфликт, ненависть к враждебному языку у националистов выходит на грань психоза. (Впрочем, почему «на грань»? Массовые психозы и есть одна из главных причин современных войн.)

Иоганн Готфрид Гердер писал, что многонациональные империи являются государствами испорченными, *развращенными*. Более того, оскверняет не только совместное проживание в одном государстве, но даже пользование чужим языком — прежде всего французским, поскольку к концу восемнадцатого века именно французский язык считался языком высшего общества. И шишковская «Беседа любителей русского слова» не доходила до такой ненависти: «Так выплунь же, перед порогом выплунь противную слизь Сены. Немецкий твой язык, мой немец!»

После наполеоновских завоеваний эта ненависть, естественно, удесятерилась — поражение прусской военной машины списывалось на франкофилию: «Да будем же яростно ненавидеть французов и особенно *наших французов* (курсив мой. — А. М.), обещающих и оскверняющих нашу работоспособность и невинность!» (Эрнст Мориц Арндт). И не вызывали смеха филиппики «отца гимнастики» Фридриха Яна, публично утверждавшего, что изучение французского языка толкает девушек на проституцию, — языку приписывалась почти мистическая власть над умами и душами.

Первые слова, по Гердеру, не были звукоподражаниями или чистыми условностями — «они выражали любовь или ненависть, проклятие или благословение, покорность или сопротивление!» — языки и спустя тысячелетия несут в себе невидимые отпечатки давно забытых чувств и событий; человек, говорящий на иностранном языке, обречен жить искусственной жизнью (ведь так просто провести границу между естественным и искусственным в человеческом мире, где искусственно все!). Фихте же пытался доказать, что одно лишь присутствие в языке иностранных слов способно загрязнить источники политической нравственности.

Ну, а если народ вообще переходит на иностранный язык, то он усваивает с ним и чужеземные пороки (но почему-то не достоинства): так французы, перешедшие с германского диалекта на новолатинское наречие, и доныне страдают «от несерьезности в отношении к общественным делам, самоунижения, бездушного легкомыслия».

«Только один язык, — писал Шлейермахер, — прочно врос в индивида. И именно ему индивид принадлежит целиком, сколько бы других языков он ни выучил впоследствии... Для каждого языка существует особый способ мышления, и то, что мыслится в одном языке, никогда не может быть тем же образом выражено в другом... Таким образом, язык, как церковь или государство, есть выражение особой жизни, создающей внутри него и развивающей через него единое языковое тело». Не только, стало быть, поэты, но даже целые нации суть органы языка...

Между тем еще никто не доказал, что выбор языка — развитого, разумеется — хоть сколько-нибудь существенно влияет на мышление, но это тема слишком серьезная и неразработанная, чтобы касаться ее мимоходом.

Британский историк Эли Кедури, чей классический труд «Национализм» (СПб.: Алетейя, 2010) вышел в России лишь через полвека после публикации на английском, подытоживал доктрину первых националистов примерно так: человечество естественным образом разделено на нации, а язык — главнейший критерий, по которому нация может быть признана существующей и имеющей право формировать собственное государство. Притом в тех границах, которые она сочтет зоной распространения своего языка. Кедури не останавливался на критериях различия самостоятельных языков и так называемых диалектов, вероятно, понимая, что границу между нами может провести лишь вооруженная сила, — его возмущало уже и то, что «акцент на языке преобразовал его в политическое дело, ради которого люди готовы убивать и уничтожать друг друга, что прежде было редкостью. Языковой критерий осложняет к тому же жизнеспособность сообщества государств. Чтобы такое сообщество функционировало, государства должны быть разумно стабильными, с ясно выраженным единством, известным и признанным на всем пространстве контролируемой ими территории, с четко зафиксированными границами, обладать характерной принудительной силой. Но если язык становится критерием государственности, ясность о сущности нации растворяется в тумане литературных и академических теорий, и открывается путь для двусмысленных претензий и неясных отношений. Ничего иного не приходится ждать от теории национализма, которая открыта учеными, никогда не стоявшими у власти и мало что понимавшими в необходимости и обязательствах, присущих взаимоотношениям между государствами».

Знаменитый физхимик Вильгельм Фридрих Оствальд, нобелевский лауреат 1909 года, заклеенный проклятием В. И. Ленина в его памфлете «Материализм и эмпириокритицизм», исследуя факторы, порождающие великих ученых, писал о борьбе за языки еще более жестко: именно эта борьба и препятствует появлению великих ученых в Восточной Европе, хотя ни один язык не имеет никакой объективной ценности — ценность имеет лишь написанная на этом языке литература. А если нет выдающейся литературы, то и сам язык мало чего стоит.

Тем не менее идеологи национально-освободительных движений не упускали случая использовать для мобилизации масс еще и лозунг защиты того языка, на котором говорили эти массы: апелляция к языку оказывалась еще и апелляцией к силе. В Корее, например, вся знать говорила и писала по-китайски, а потому и практически вся высокая корейская литература была китайскоязычной, — как если бы Пушкин и Толстой, прекрасно знавшие французский язык, еще и свои сочинения писали по-французски. Но как мы помним из «Войны и мира», во время войны с Наполеоном в свете начинали штрафовать за употребление французских слов. Нечто подобное произошло и в Корее после того, как в 1910 году ее аннексировала Япония: было просто невозможно не защищать тот язык, на котором говорило простонародье — главная живая сила партизанского движения.

Американские же колонии, поднявшиеся на борьбу за собственную государственность, не имели возможность противопоставить метрополиям какой-то свой особый язык (англоязычные — Англии, а испаноязычные — Испании), — они этого и не делали, сочиняли какие-то иные мифы: мифы вполне могут обходиться и без языковых подпорок. Так мексиканский министр народного образования Хосе Васконселос, открывший дорогу великой четверке мексиканских монументалистов, доказывал, что смесь народов, образовавшая нынешних обитателей Латинской Америки, являет собой новую «космическую» расу, которой принадлежит будущее. Нарождающиеся Соединенные Штаты Америки тоже о языке не упоминали, а напирали либо на религиозные свои достоинства — они истинные пуритане, либо на политические: Уитмен слово «демократия» писал с большой буквы, а самым величественным зрелищем Америки называл не Кордильеры и не Великие озера, но — выборы.

А вот сионистам, поднявшимся на борьбу за создание независимого еврейского государства, пришлось делать выбор между апелляцией к народу и апелляцией к языковому мифу, ибо национальная легенда требовала древнего иврита, а народные массы говорили на идиш, на «жаргоне» — наследии угнетателей. И национальные романтики выбрали красивую легенду. А когда один из сочувствующих европейцев убедительно доказал лидеру российских сионистов Жаботинскому, что английский язык будет во всех отношениях удобнее, и спросил, почему же они все-таки выбрали иврит, Жаботинский подумал и ответил: «Потому», — красивую древнюю легенду сочли более важной для экзистенциальной защиты, а следовательно, и для национального единства.

А теперь задумаемся о сегодняшнем цивилизационном выборе стран Восточной Европы, и прежде всего — славянских.

Предмет гордости польской национальной культуры и фаворит общезападной нобелевский лауреат Чеслав Милош в своей книге «Азбука» (СПб., 2014) о нынешнем главном бастионе собирательного Запада пишет так.

«Америка. Какое великолепие! Какая нищета! Какая человечность! Какое бесчеловечие! Какая взаимная доброжелательность! Какое одиночество! Какая преданность идеалам! Какое лицемерие! Какое торжество совести! Какое двуличие! Америка противоположностей может (хотя не обязательно должна) открыться перед успешными иммигрантами. Не достигшие успеха будут видеть лишь ее жестокость. Мне повезло, однако я всегда старался помнить, что обязан этим счастливой звезде, а не себе, что совсем рядом находятся целые районы, населенные несчастливцами. Скажу даже больше: мысль об их тяжком труде и несбывшихся надеждах, а также о гигантской системе тюрем, в которых держат ненужных людей, настраивала меня скептически по отношению к декорациям, то есть к аккуратным домикам среди зелени предместий».

Когда-то Алексис де Токвиль предрекал, что двум новым гигантам — России и Америке — предстоит сделаться владыками мира, но Милошу пришлось увидеть американское торжество. «В этом столетии „зверь, выходящий из моря“, поверг всех своих противников и соперников. Самым серьезным противником была советская Россия, ибо в столкновении с ней речь шла не только о военной силе, но и о модели человека». Хорошо, что это видят хотя бы поэты: борьба народов — прежде всего состязание грез, состязание воодушевляющих мифов. «Попытка создать „нового человека“ на основе утопических принципов была поистине титанической, и те, кто ex post недооценивают ее, видимо, не понимают, какова была ставка в этой игре. Победил „старый человек“, и теперь при помощи СМИ он навязывает свой образ жизни всей планете. Оглядываясь назад, следует усматривать причины советского поражения в сфере культуры. Расходуя астрономические суммы на пропаганду, Россия так и не сумела никого убедить в превосходстве своей модели — даже в покоренных странах Европы, которые воспринимали эти попытки издевательски, видя в них неуклюжий маскарад варваров».

Социальное, как всегда, уступило экзистенциальному — национальному и цивилизационному, ибо цивилизация тоже порождается уверенностью какой-то группы народов в совместной избранности, а в позднем Советском Союзе даже его лидеры уже не верили в собственную сказку и пытались состязаться в заведомо проигрышных критериях противника, в уровне и разнообразии потребления, опираясь уже не на интернациональный (имперский), но национальный принцип, требуя невозможного признания верховенства Старшего Брата.

Америка при этом, несмотря на свою пресловутую «бездуховность», умудрилась сделаться еще и культурной столицей мира. «Уже не Париж, а Нью-Йорк становится мировой столицей живописи. В Америке у поэзии, сведенной в Западной Европе к че-

му-то вроде нумизматики, появились слушатели в университетских кампусах, кафедр, институты и премии. Я сознаю, что если бы остался во Франции, то не получил бы в 1978 году Нейштадтской, а затем и Нобелевской премии».

Но даже у этого счастливирика кое-где прорывается обида за славянство, за «огромные массы иммигрантов из славянских стран — словенцев, словаков, поляков, чехов, хорватов, сербов, украинцев». Сколько славянина ни корми, он будет помнить «принятые в двадцатые годы законы, ограничивающие число виз для стран второго сорта, то есть восточно- и южноевропейских». «Учитывая высокий процент славянских переселенцев, их незначительное присутствие в высокой культуре заставляет задуматься. Пожалуй, главной причиной было, как правило, низкое общественное положение семей: детей рано отправляли на заработки, а если уж посылали учиться, то избегали гуманитарных направлений. Кроме того, эти белые негры пользовались своим цветом кожи и часто меняли фамилии на англосаксонские по звучанию, поэтому до их происхождения уже трудно докопаться». Что в очередной раз доказывает, что для сохранения национальной культуры выгоднее соседство культурно чуждого народа, присоединение к которому не представляет экзистенциального соблазна: даже делая карьеру среди «варваров», выходец из «избранного» народа в глубине души продолжает смотреть на него свысока. Другое дело, пребывание среди народа, чье превосходство и в глубине души не вызывает сомнений — тут ассимиляция практически неизбежна, если чужаки еще и не выделяются среди хозяев антропологически.

«Когда рабочие из Детройта узнали, что поляк получил Нобелевскую премию, они произнесли фразу, заключающую в себе суть их горькой мудрости: „Значит, он в два раза лучше других“. По своему опыту общения с заводскими мастерами они знали, что лишь удвоенные труд и сноровка могут компенсировать нежелательное происхождение». Здесь, однако, народная мудрость не возвысилась до понимания тонкостей национальной политики: умные владыки мира всегда демонстративно поощряют отдельных любимчиков из дискриминируемого меньшинства, постоянно кишащего недовольными, чтобы лишить козырей тех смутьянов, кто станет призывать их к открытому протесту. Правда, сам Милош вряд ли мог бы соблазнить своей карьерой кого-то, кроме кучки интеллектуалов, а более всего литераторов. Он был нужен, скорее, для формирования альтернативной истории польской литературы, и в этом, судя по всему, он свою роль сыграл. И роль несомненно положительную, хотя мне и неизвестно, какие «автохтонные» польские поэты были заглушены нобелевскими фанфарами.

Они даже и в душе самого Чеслава Милоша, сверх самых смелых его мечтаний обласканного Западом, не сумели заглушить национальную обиду на **Глупость Запада**: «Признаться, я страдал этим польским комплексом, но, поскольку много лет жил во Франции и Америке, все же, скрипя зубами, вынужден был научиться сдерживать себя.

Объективная оценка этого феномена возможна, то есть можно влезть в шкуру западного человека и посмотреть на мир его глазами. Тогда выясняется: то, что мы называем глупостью, следствие иного опыта и иных интересов». Да, нам всегда представляется чем-то вроде слабоумия — или уж крайней подлостью, когда другие хотят жить не нашими, а собственными интересами. Тем более не шкурными нашими, а высокими, национальными!

«И все же глупость Запада — не только наша, второсортных европейцев выдумка. Имя ей — ограниченное воображение. Они ограничивают свое воображение, прочерчивая через середину Европы линию и убеждая себя, что не в их интересах заниматься малоизвестными народами, живущими к востоку от нее». Счастливицу Милошу такое отношение к Восточной Европе наверняка виднее, чем любому из нас, «варваров», вольно или невольно внушающих страх одними своими размерами, не говоря о тех десятилетиях, когда мы несли миру красную заразу. Правда, я уже давно не по-

нимаю, что в противостоянии «двух систем» порождалось идеологией, а что геополитикой. Коммунистические грезы начали быстро оттесняться вечными задачами национального выживания, требовавшими сверхмобилизации не под теми, так под другими лозунгами: не уверен, что была возможна мирная политика среди военного психоза Тридцатилетней войны 1914–1945 (обойтись без особых зверств и подлостей удалось только тем, кто был для этого недостаточно силен). Альтернативой коммунистической воодушевляющей химере могла быть только националистическая, и вполне возможно, что Россия спасла от фашизма еще и себя самое — коричневую чуму излечила красной заразой.

Для национальной же гордости мучительнее всего попасть в число «пустых стран, не имеющих значения для прогресса цивилизации», то есть не способных ни особенно помочь, ни особенно повредить. Только почему же Милошу кажется, что такое восприятие порождено ограниченностью воображения, а не «иным опытом», в котором эталонным европейцам от тех стран, за которые у поэта болит душа, и впрямь всегда было ни жарко, ни холодно? «Исторические неудачники», — считая меня за своего, как о чем-то общеизвестном однажды обронил о славянах весьма просвещенный корреспондент одной из радиостанций, призванных нести цивилизацию в мир варваров, и, боюсь, всем обольщенным цивилизацией, но не обольстившим ее народам рано или поздно придется вслед за Милошем понять, что так называемый цивилизационный выбор невозможно сделать в одностороннем порядке: даже формальные корочки члена престижного клуба не гарантируют того, что ты и впрямь принят в него как равный. Больше века назад подобную неполноценность в европейском бомонде ощутили евреи — тогда-то и возник светский сионизм, пытавшийся и сумевший создать собственный клуб. Подозреваю, что когда-нибудь этого же пожелают и народы Восточной Европы. И попытаются создать какую-то мирную версию Варшавского договора.

Ничто так не сближает нации в единую цивилизацию, как наличие общей опасности. Варшавский договор был направлен против военной угрозы, которую никто не воспринимал как реальную, и потому он ощущался ненужной обузой даже в России, если говорить о наиболее «модернизированной» части ее населения. Но сегодня у «второсортных европейцев» не может не нарастать ощущение исторической ущербности, для противостояния коему требуется уже не оружие, но прорыв в созидании чего-то **небывалого** — в науке, в технике, в искусстве. Страны, составляющие ядро европейской цивилизации, всегда будут смотреть на новичков свысока как на своих учеников, куда те лишь повторяют, пусть как угодно блестяще, их уже известные достижения. Именно поэтому странам «полупериферии» необходимы прорывы, способные удивлять мир, расширять его представления о человеческих возможностях. И объединять для этого усилия в научных, культурных и технических проектах, поднять которые поодиночке им не по силам.

Решатся ли они на такую борьбу или так и будут «рано отправлять детей на заработки» в погоне за званием «нормальной европейской страны», то есть никому не интересной копии господствующего эталона?

Если же выразиться более научно, в сегодняшнем мире назрела необходимость не геополитических, но экзистенциальных союзов, предназначенных для борьбы не друг с другом, а с ощущением исторической мизерности человека и человечества.

А язык — язык при этом годится любой. Но лучше тот, который меньше отпугивает и раздражает. Возможно, в этом отношении лучше всего подходят языки малых и физически слабых народов: их не боятся и к ним не ревнуют.